

## Слово о Переделкино

**Эта беседа с Андреем Вознесенским состоялась летом 1999 года и осталась неопубликованной. Сам Андрей Андреевич назвал интервью «красивым». Теперь оно как воспоминание об ушедшем от нас поэте и его любимом месте.**

**Николай АЛИПОВ,  
член СП России**

## Аура Гефсиманского сада

— Андрей Андреевич, удалось ли вам прочитать что-нибудь интересное за последнее время?  
— Обычно читаешь книги, которые тебе дарят. Я человек старомодный, читаю всё. На днях вернулся с книжной ярмарки в Иерусалиме, где был в качестве гостя. Представляете, сколько читае удалось привезти! Да и Иерусалим — это самый вербальный город мира, он сам флиртует со страницами, кофейными от времени. Я так зачитался его улицами, что не поехал в другие города.

— Так какие же книги из тех, что вы привезли, захватили сразу и не были отложены на потом?

— Это прежде всего «Избранные стихи и пьесы» Тадеуша Ружевича, мамонта польской словесности. Книга двуязычная, польский текст дублирован английским, поэтому, если польского не хватает, всё равно понимаешь философскую глубину поэта. Вообще польский стенд лидировал на ярмарке. Дочитываю «Цареубийство в 1918 году» М.Хейфица — одну из версий расстрела Романовых. Только что закончил чтение «Эры духовных машин» известного учёного и авторитета в компьютерном мире Рэя Курцвейла, исследование, изданное на английском «Викингом». Книга удивительно умная, хоть и не бесспорная, автор утверждает, что ко второй декаде нового века компьютер обретёт сознание. К книгам недели добавлю ещё «Иейтс — европеец» — сборник эссе о наиболее близком нам сегодня поэте. Интересно параллель между Иейтсом и Паундом.

— А что-то удалось прочитать у собратьев по перу?

— Журнал «Знамя» опубликовал новую книгу Б.Ахмадулиной, не цикл, а целиком книгу, упоминательную по языку. В том же номере глубокая проза Инны Лисицкой, взгляд Н.Ивановой на Симонова. В общем, хрустальное бабье лето. Но в наше время замыслы и готовые произведения витают в воздухе, не дожидаясь опубликования. Недавно тут в саду сидел Василий Аксёнов и рассказывал мне свой новый роман. Настолько вылукло, что казался, будто я прочитал уже эту вещь. А за штатетником забор прислушивались яблони, которые когда-то слышали чтение «Доктора Живаго».

— Есть ли такие молодые авторы, которым вам бы хотелось пожелать книги, если таковой у них ещё нет?

— Увы, коммерческая цензура оказалась страшнее, чем идеологическая. Раньше статья, подобная моей «Мухе музы», с трудом пробившись на страницы печати, сразу закрепляла плеяду молодых имён в сознании, а стало быть, и в литературе. Их печатали. Ныне талант заслоняют иные интересы. Но я надеюсь, что книги молодых прорвутся. Назову ещё не упоминавшиеся, хотя бы Станислава Голованова, чья подборка уже давно ждёт очереди в «Знамени», или севастопольца Михаила Скрыльникова.

— Довольны ли вы своей издательской судьбой? Что в чернильнице, а что «на выходе»?

— Доволен ли я своей судьбой — человеческой и авторской? Вот в чём вопрос. Для меня издание каждой книги — процесс мучительный. Я говорю не только о вырезовании, о складывании книги, не только о том, что она для меня, прежде всего, событие внутренней жизни. Страшно, когда слова твои попадают в чужие руки, им больно. Поэтому я стараюсь не оставлять их до выхода, рисую, участвую в и вёрстке, и в расположении текста, и в выборе гарнитуры шрифта. Слава Богу, что исчез институт идеологических редакторов, цензоров. И если технический редактор влюблён в слово, то значит, книга получится. Очень важен видеоряд. Каждая книга для меня — видеоролик со своей судьбой. Она иная. «Такое же всё и другое...» Сейчас я живу книгой «Жуткий крайзис, суперстар». Это только новые стихи и поэмы последних трёх лет. Процесс издания занял меньше месяца. Спасибо издательству «Терра»; «Эжмо» выпустило «Страдивари страданий» — это избранное. Маячит издание «Девочки с пирсингом». Думаю над предложением собрать «Моего Набокова». Для издательства «Вагриус» составляю третий том пятитомника.

Нашу беседу сопровождает гул то набирающих высоту, то идущих на снижение самолетов энвокувских авиалиний. Уставший голос поэта тонет в гуле двигателей. Невольно приходишь на память пастернаковский «Лётчик»: «Не спи, не спи, художник, не предавайся сну...» Глядя в сторону соседней дачи — ныне Дома-музея Пастернака, невольно задумываешься о более простом: а высыпаются ли теперь здесь вообще кто-нибудь, не только художник? И поэт вдруг начинает о Переделкино:

— Теперь известно, что наивские самолеты, пролетая над Югославией, разрушили нечто хрупкое в воздухе. И голуби стали гибнуть, исчезать. Вдруг ревущие самолеты спугнут ангелов, которые летают над Переделкино?

— Вы в своей книге «На виртуальном ветру» вспоминаете, что когда-то в Переделкино было полно ежей. Осенние канавы шурали листвою и поспывали. Сейчас, мол, не найдёшь ни одного ежа, и впрочем, и с лисами тоже проблемы. Может, настало время спасти Переделкино? Ведь это культурное историческое место, о котором знают во всём мире. Рядом резиденция патриарха, а писательский городок хранит память о многих именах и событиях, связанных с историей нашей культуры последних десятилетий.

— Что в Переделкино уникально? Наверное, прежде всего, аура, которая, может быть, даже имеет нечто общее с аурой Гефсиманского сада. Или Радонежа. Я физически чувствую здесь излучение. Не случайно здесь был написан гефсиманский цикл. Это особый состав воздуха. Не случайно Чукковский говорил о микроклимате Переделкино. Это некое подобие того, что ощущаешь, находясь в тени оливы Гефсиманского сада. Вдруг здесь точка какой-то неизвестной космической энергии? Не случайно здесь резиденция Патриарха, Кольчёрская церковь, подобию Василия Блаженного.

— И всё-таки Переделкино (и той же могиле Пастернака) не хватает, а вы сказали, опрятности, интеллигентности, которые явно чувствовались здесь ещё совсем недавно. Странно видеть на дорожках писательского посёлка бесконечный мусор. Посёлок должен диктовать свой стиль, а не подчиняться стилю так называемых «новых» застройщиков, нуворишей. На могиле Пастернака всё чаще стали появляться бумажные и восковые цветы. Помню, как по весне искусствовед Елена Тагер бурно обсуждала с верным стражем могилы Эммануилом Лишицем, какие цветы хорошо посадить именно в этом году. При этом непременно вспоминались цветы, которым отдавал предпочтение Борис Леонидович.

— Хорошо, что вы вспомнили Елену Ефимовну. Её забыли, вубе, совершенно. А она как раз эту неземную ауру и излучала. Она походила на врубелевскую Мэу с оханкой медных волос. Удивительно была красива! Она впервые мне открыла неизданную Цветаеву, рукописи которой хранила. Я запомнил её на пастернаковский даче. Поэт был тогда болен. Помню склонившийся над ним осенний женский силуэт... А что касается цветов на могиле Пастернака — бумажных, базарных, пошлых — они будут. Это и есть народное признание. Думаю, душа поэта радуется этим аляповатым алмам, голубым цветочкам: они от чистого сердца, не от рафинированных интеллигентов, а от тех, которые любят его по-другому, пасхально, по-христиански. Вот отсюда виден дом его, там работают служители из крестьян, не понимающие, вероятно, сложность поэта, но понимающие, чувствующие его суть. Нутром. Они понимают поэта, окучивая его сад, оберегая его уклад, ауру его дома — оберегают буквально за нищенскую плату, почти без денег оберегают!

Я вообще против общих лозунгов, таких как: «Спасать культуру, спасать духовность или человечество». Спасите конкретно хоть что-нибудь! Спасайте мозаику. Скажем, на могиле Пастернака памятник сделан из очень хрупкого известняка. Это уникальная гемма Сарры Лебедевой. Памятник нуждается в реставрации. Мы обратились за материальной помощью к Патриарху. Надеюсь, всё будет в порядке. И так бы во всём. Скажем, тот же Святой источник с серебряной водой. Незнакомый умелец соорудил трубку, из которой идёт усталая струя. Как крохотный отросток, она соединяет нас с экологически чистой стихией. Но сотни вонючих, ежечасно подвезающих к источнику, согнулы железные ступени, одна вот-вот сорвется! Кто-то бескорыстно и безымянно автогенно сварила эти ступеньки и вывел на них женские имена. Помощь природе конкретна. «Жизнь, как тишина осенняя, подробно...»

Поэт Переверзин пишет светом, летуче, неуловимо обтекающим мир. Такова художественная особенность его письма, его поэтическая палитра: «Строка, как молния, сверкнула // И озарила белый свет». Об этом, как о само собой разумеющемся, то и дело упоминается в откликах на его творчество, в живых, непосредственных впечатлениях от сей волшебной лирики. Художественные краски, колер стихотворений поэта зримо зависят от состояния атмосферы, от земной и небесной погоды, окрашивающей в свои цвета лирические картины мира: «Какая зорька расписная // Стоит и машет рукавом!» — чуть только пожелает автору пролить в строки свет собственного душевного состояния. Читая эти стихи, воистину понимаешь, что сам поэт — природное явление.

Световая кисть Ивана Переверзина дарит счастье воочию узреть всё, что есть под небом и на небе, постичь дали в их необъятности и каждый в них ярко освещённый предмет. Постичь в движении, в «проблеске колючем», в постоянном смещении настроений природы и души, смены климатических времён и охваченных ими реалий — дерева ли, зверя ли таёжного, обитателя ли тундры, северных птиц, человека ли, заносимого метелями, студимого морозами в редко обитаемых просторах. В метаморфозах времён года. Это безошибочно выхвачено избранными цитатами в предисловии к книге стихотворений «Грозные крылья»: «Увидим, как легко поднежики // В ложбину сдвинули суброб». Да разве только поэт в поэте заметит восхитительно тонкое движение души вслед взору? Собственное, словно бы укрываемое от равнодушных, не способных чувствовать. И, однако, всеобщее у людей, живущих землёй, на своей земле. Национальное. «В преддверии дыханья хлеба // С туманом утренних полей...»

Потом рассветные синицы, И красногрудки, и чижки Сумуют песнею пролиться В бессмертном выдохе души.

Движение стиха, движение всего сущего — это жизнь и её творческое воплощение. Главное то, что сущее живёт внутри света, а вместе с ним живут и чувства, и порывы человеческие.

И я завет души исполню, — И надо мной, то вспыхну молний, То даль — прозрачна и светла... И в небесах, где синь — без края, Летит, звенит трюбка живая, Что в счастье крылья обрела.

Внутри света и сам облик, небывалый абрис притягивающей читательское внимание личности — нового в русской поэзии лирика, озарённого, просветлённого любовью. Свет — это любовь, они неразделимы. Чудо любви освещено поэтом в мысли:

Не осенняя страсть в пустыне строит город, Не ревность в небесах молчать велит громам, А нежность, что в любви, сгорающей, как порох, Божественный приют даёт моим словам.

Световой кистью, ветровым охватом, множественным привлечением всего, что способен — действительно! — чувствовать человек, рисует поэт своё понимание нежности. Каюе, оказывается, это мощное чувство. Лишь бы поймать его, пережить, удержать. Любимые строки Ивана Переверзина, охватывающие глубинное и житийское многообразие того, что происходит между сердцами, — неразрывная основа его поэзии. Богатая росссыпь, откуда черпать и черпать каждому любящему слетающие из стихов на язык объяснения, зажигать ликующими афоризмами: «И вновь подобен я лучу, // Что озаряет счастьем слово».

Движение жизни сердца, зримо выхваченное из множества мгновений развития, угасания, преодоления бед — раскинувшееся на весь мир романное лирическое повествование отмечено у Переверзина небывалым ещё в поэзии крутым духовным взлётом, вольным — и словно незаметным — расселением человеческой любви во Вселенную. В том, незнаемом, мире:

Прости! Я слёз твоих не стою, Но ими, а ничем другим, Я рану, как водой, омою, Воскреснув с именем твоим.

Конечно, такую поэтическую свободу даровала автору наших дней великая традиция отечественной и мировой культуры слова, выхлоп, прозрения; всё родное, что вдул поэт летучей судьбы, поэзия предшественников, чьи строки, бережно хранимые, вспыхивают искрами в прозрачных, летучих полотнах переверзинских стихов. Есенинское, знаменитого сибиряка Василия Фёло-

рова, Юрия Кузнецова, принявшего нового поэта... Да и вообще, весь могучий поэтический сплох прошлого века, давший чарующе высокую жизнь истерзанной войнами стране. Накопленная нашей поэзией энергия, вобранный личностью прорывный свет её достиг у Ивана Переверзина сказочных высей, в которые всегда ввалось человечество. Лирик явился духовным воплощением людского стремления жить в божественных просторах, вмешиваться во все-ленские события.

Каково при этом самому автору строк: «Мне сам Господь, случись чего, поможет // Навек на счастье обрести права?» Ему восторженно! Он — у себя, он — человек в небе! Где Господь «на верёвках-облаках золото лучей сушить развесил». Религиозно! «Моя душа — горящая лампада, // Перед которой меркнет небосвод».

Свою глыбу бескрайних природных ощущений, динамичных картин и сменяющихся состоя-

чень горько // Наедине — с душой». Не биографию пишет поэт, она сама проблескивает в творческой судьбе крестьянского сына с неутихающей болью в руках от труда на земле, с памятью и обидой за горькие испытания родителей, со скорбью за смерть брата, с исповедью о семейных размолвках и о судьбоносных встречах. И о поисках утешения за рюмкой под есенинскую «Исповедь хулигана». Ничего не скрыто, всё на миру. Но с истинно русским целомудрием, неназойливо, не с требованием жалости и сочувствия в острых столкновениях, сердечных смутах.

С летящим, упорным проникновением в смысл своей судьбы, как бы смутно в жизни, во все-ленском окружении ни было: «И ничего не понимаю // В борьбе меж небом и землёй», «И не знаю сам — уж на чём стоит // Вера в вечный путь и святое дело».

А божественный инстинкт поэта выводит Переверзина и его

Словно вдруг во тьме незряче, как изгой, сквозь крик пойдут...

Душевную открытость, которую так жадно впитывала в русской литературе очертившая цивилизация, вновь дарит ей русский поэт, уже слышимый в иных краях. Заряженный творческой энергией света, он расширяет озарённые просторы слова мыслью и глубиной прозрений, некогда вспыхнувших в европейской культуре, принимая на себя грозный накал гения Гёте:

Сшибались тучи, как быки, Крутыми лбами всё сильнее, И молний острые штыки Вонзались в землю до корней.

Не в честь ли памяти о нём — Чтоб я до смерти вспоминал, Когда он польхал огнём, Какда бессмертье вызывал!

Точнейший портрет мирового гения, во-льно подхваченный на

## “Ты посмотри в глаза мои без грусти...”

Иван Переверзин принёс в русскую поэзию вместе с тем студёным, буйным краем, которым, по убеждению его читателей, вторящих ломоносовскому высказыванию, поэтически прирастает России. Прирастает ещё не опробованным на язык колоритом. Морозная якутская лыжня изначально ведёт в выси неукротимый дух поэта. Оттого у него, наверное, путь в небо — тропа. С неё — изначальный метельный взлёт из той жизни, где «я — ветер, рыдающий горько», где раскрывается планетная история, где сквозь просторы познаётся неоглядная родина — Русь. Познаётся молодым сердцем русича-якута, природного уроженца неведомого севера (пусть и зовут земляки поэта «нюча» — русский), молодого якутского края. Та часть планеты геологически действительно молодая, пассионарная, будто предназначенная для последнего восторженного вскрика человеческого с земли...

...И ринется поток могучий На поимы, роци и леса.

Листвы пожухлые остатки, Прах насекомых, мусор лет — Все унесётся без оглядки Скупому времени вослед.

Мир осяянный, сокровенный Взойдёт, как ясная звезда. Вот только я уже, наверно, В эрозе останусь навегда.

Таково творческое самоощущение автора. Отважное, героическое. Оно притягивает невольно, без надрыва, читательское внимание, ведь жажда людей, особенно растерянных, дезориентированных в непонятной, без целеустремленности, без влекущей к свету грядущего нынешней жизни, неистребима. Увидеть жизнь в её движении глазами того, кто видит, способен раскрыть врата неба. Глазами того, кому всегда веряли свои сердца, — глазами поэта. Иван Переверзин принял на себя эту миссию. Не случайно у него настойчиво повторяется, то с глубочайшей верой, то с требованием подтверждения — народного подтверждения — «Я — поэт». Это сказовая лирическая тема поэзии автора распаханых, написанных светом стихов. Тема-воззвание: «Ты посмотри в глаза мои без грусти». Конечно, это интимная строка о любви. Но разливается светом на всех. А поэт зовёт дальше:

А боли, что мучили сердце, А страх перед жизнью навстречу? О них я забуду в бессмертье — Где путь прямо к Богу открыт.

Так говорит поэт — святой на Руси человек. Пишет правду даже своими сомненными и муками. Но не утрачивая готовности: «Я завалил на себя непосильный груз // И тащу его, будто чёрт проклятый». А кто сказал, что легка летучая кровавая метель, воя морозной стужи? Но и в сердцах выдохнутое «не святое» слово у Переверзина — песня.

Певучей лаской овеяют стихи поэта видимый им мир:

Пока в саду цветёт магнолия И песен птичьих не унять, Ни потрясения, ни боли я Не буду, дорогая, знать...

Это звучит в русском сердце Европа, которую посещает московский поэт, достигший свободы путешествия в недоступные ранее европейские страны. И, удивительное дело, Переверзин несёт с собой то самое чувство, о котором некогда сказал Юрий Кузнецов, — что «священные камни Европы, «кроме нас, не оплачет никто». Новизна в том, что не оплакивать трагедии европейской истории, не лечить свои душевные раны хочет русский поэт, а чудесно прихлынуть своим светом к ещё не угасшей волне духовности древней культуры. Высветит то близкое, вдохновляющее мир и поэзию, изысканностью своих строк:

И — скрёт мне грудь усталость, как объятья лалача, И — прояснит в сердце жалость вспышкой жалкой, как свеча.

С горькой болью я заплачу, но без зла на жизнь-беду,

крыло поэтом наших дней.

И столь же любяще воспет неведомый старик на Балканах, который учил его, как восходить к вершинам: «С заботой простодушной мне вслед негромко говорит: загадывать вперед не нужно...» Конечно, это и реальный, ставший узнаваемым в стихах образ, и колдовское явление, как всякий выхваченный Переверзинным герой, человек ли, зверь ли, птица. Такой же полюбвиный, как таёжный старообрядец, крестьянский поэт...

Дорого поэту всё, что ни есть доброго и прекрасного на земле. Но сам он летит всё круче. Его судьба рисуется над бездной — к небу:

Один и тот же путь на небо — По горным тропам через лес...

На этих тропках «дрозд поёт и верит в небель, на солнце золотистый весь». Там никто не потревожит поэта, «лишь ветер в соснах зазвенит, да коршун, на орла похожий, круги над бездной прочертит». Там место признания: «Всегда мне было жизни мало, и потому душа, мой Бог, со временем такую стала»... И вот он, захватывающий дух пейзаж:

Устав, на ледяном карнизе, Нисколько бездны не боясь, Прилягу, думая о жизни, В которой песня заедёт сблылась.

В поэзии Ивана Переверзина, влекомой светом, нет того, что называемой осуществлением намеченной цели. Скорее, он сам дитя века, его смятенных событий, круто проступивших в стихах, дитя своего запечатлённого в сказочном свете рода, своего собственного характера — истинно национального. Он доверчив, способен слушать тех, в кого поверил вплоть до внезапного поворота летящей лыжни, что видно по его сворачивающему порой в завлекшую сторону поэтическому почерку; готов, случается, разувериться в себе — пусть на резкое мгновенье. Бывает непредсказуемым для самого себя и для верных своих читателей. Словом, живой русский человек.

Он чувствует своё вечное предназначенье, своё слышанье с высшей энергией — чудом поэтического слова. Свой счастливый и мучительный порой дар «клинок зарю» сверкает меж небом и землёй — в новом для всего человечества бытии. Дар быть ведущим, задушевым поэтом, которого в современности нельзя ни обойти, ни не последовать за ним. Не криками, не призывами, не даже особенно громким звучанием стиха увлекает постигающих его, вселяет веру в необходимую людям, мощную жизненную цель. Можно утверждать, что поэзия Ивана Переверзина — национальная идея.

Пишу не потому, что это Дано судьбой, а потому, Что верю в тяжкий путь поэта, Ведущий к свету через тьму.

Потому и воззвал он к любимой: «Ты посмотри в глаза мои без грусти».



Ирина ШЕВЕЛЁВА, критик, литературовед